

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO, 243 WEST 56th STREET, NEW YORK, N. Y. 10019 ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮЛЯ 1977 ГОДА VOL. LXVII № 23.299 SUNDAY, JULY 3, 1977 ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 1910 ГОДА PRICE 35¢

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. РЕМИЗОВА

Трагическая тень писателя

БОРИС ФИЛИПОВ

Меня всегда поражало: говоря о Ремизове, подчеркивают его скomorошья сказ, его юродство, хвостик чертит и всяческой нежити, развешанные в его основательно захлавленной квартире. Вспоминают известную хитрецу, просвечивающую во всем его облике. И как-то редко-редко видят глубочайшую трагичность его жизни и творчества: не уныние, а безысходную печаль, прорывающуюся в самых беззаботных, на первый взгляд, его произведениях, часто автобиографических, еще чаще — полуавтобиографических. И вот еще: это то, что большинство читателей — и вообще людей — никогда не прощает: оригинальность неповторимо-одинокой творческой личности, отсутствие в его вещах уже давно проторенных, давно искоженных мест и путей:

«Припомнив только свое «безысходное», я курил мою горюшку польню и в глазах у меня темнело. Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гоюсь или «не подхожу к нашему читателю». А надатели не принимали моих книг: «я не самокупаем». И те из пишущих, кому помог в ремесле, стесняются моего имени или просто плывут на меня. В газетах меня печатают из милости. Можно ли привыкнуть просить? Нет. Скорчась — я ведь и горбатый-то от попрошайства — я попросил бы, да нынче нету газет, куда сунуться. И вспоминая свой пропад, я отходил, не спрашивал... И чернота кутала меня...»

Пишущим же собратям Алексея Михайловича помогал, учил их ремеслу и, особенно, языку, — помогал безотказно. Уже со всем незадолго до смерти, например, он писал мне (26 октября 1957): «Дорогой Борис Андреевич! Вразумительно Вы пишете: и сострадание, и краска, и своя беда. Какого еще мастерства! Попробуйте подбрасывать и перевертывать слова. Это оживит нашу живую

речь. Хорошо, что помнят ли «Курочку» протопопа. Я напишу Вам еще. Последние дни мне очень плохо. Привет! Алексей Ремизов».

В сущности всегда, всю жизнь одинокий, в лучшем случае, окруженный заботой и вниманием очень, катастрофически немногих, полужизни и дряхлый, смолоду больной, чаще всего творивший в торричеллиевой пустоте непонимания и непризнания, он был одержим творчеством: «Работаю, стиснув зубы. Говорят, пишу непонятно. А я не могу снижаться до понимания людей, которые не дают себе труда подумать над тем, что читают... Да и кто читает? Вот французы признают меня, переводят, а русские — нет» (Андрей Седых. «Далее, ближе...»). Да, понимали и признавали его немногие. Даже далеко не все писатели. Даже далекие от все пишущие, обаявшие ему тайными ремесла, техникой слова и образотворчества. И они не хотели отдавать себе отчет в том, сколько они получили — и чему они научились у Ремизова.

Его наибольшее своеобразие — в предельном антиинтеллектуализме. Это — в традиции Достоевского, Рованова, Льва Шестова. Но ремизовский антиинтеллектуализм еще более стремителен: «...Надо сойти с ума, чтобы познать. Отойти от навязчивости определений — взглянуть на мир другими глазами». Ремизов и видит мир другими глазами. Мне думается, глазами Шула, трагедофарсового сотоварища Короля Лира, рвущего и свои седьмы, и «рвущего на куски страсти», — по профессиональному выражению трагиков-актеров. И еще: что-то от Мармеладова: «А коли не к кому, коли идти больше некуда? Ведь надобно ж, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти!». Была жена-друг, Серафима Павловна: умерла. Были

совсем немногие друзья-заботники о вовсе не от мира сего человеке и писателе: Андрей Седых и Наталья Котрянская, Юрий Мамченко и Наталья Резникова... Но — кто уехал за океан, кто сам заболел, у кого и своих забот был полон рот. Две Натальи, впрочем, опекали Алексея Михайловича до последнего часа его жизни. Но ведь писатель, всякий писатель, ищет, что бы он ни говорил, аудитории. В одиночестве — мог бы помочь Бог. Но ведь и вера-то Ремизова была больше эстетического порядка: больше — эстетика житий Николая Угодника, Богородичных преданий, «Звезды Надзвездной». Эстетика — это не живая вера.

И оставалась память. От прапамяти Рамаяны и языческой славянской «Посолони» — до житий Византии и Египта; от «крашенных рыл» скomorошества — до Тристана и Изольды Средневековья. И, конечно, память о трагедиях и водевиллях революционных дней («Византизм в Русь») и, еще важнее, — память глубокого личная: «Подстриженными глазами», «В розовом блеске». «Улы и закуты памятью это ведь начало воскресения, начало преодоления смерти. И все — с драматическим рефреном: «И разве забыть мне?... «Или — это страждущая моя тень — боль, от которой мне никак не уйти?...»

А в вышей старости — еще и полная слепота: напор замыслов, творческой силы — и темный мир слепого вокруг: «...Напор затей, а осуществить не могу — глаза! Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог»...

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения большого русского писателя, а 26 ноября — 20 лет со дня его смерти. Трагическая тень Алексея Ремизова одиноко пересекает столбовую дорогу русской литературы.